

Рудра Мамарина



ЩЕПКОЙ – В ПОТОКЕ...

В моей сложносочиненной долгой жизни с того дня, как я осталась без родителей и начала самостоятельное «плавание» по ней, мне всегда везло на добрых людей. Одну из поэтических книжек я так и назвала – «Время добрых людей». И едва ли не самой первой в их чередѣ была Мария Михайловна Кантор, преподаватель политэкономии в предвоенном Литинституте. Очень маленькая стройная женщина, которую даже самые высоченные каблукѣ не делали выше, круглолицая и круглоглазая, с гладко причесанными волосами цвета «воронова крыла», как тогда говорили, с тяжелым пучком на затылке, Мария Михайловна была очень своеобразным человеком. Лекции она читала, очень четко формулируя свой мало мне понятный и доступный предмет, подчеркнuto отчетливо произнося все слова и фразы. При этом, большая умница, она скрашивала лекции остроумным словом и к месту сказанной шуткой. На переменах рядышком со студентами глубоко затягивалась длинными папиросами. В предвоенном Литинституте были вполне демократичные нравы, и дистанцию между преподавателями и студентами никто не подчеркивал специально. Случались даже дружбы и романы, тем более что студенческий контингент был не похож на обычные вузы. В Литинституте учились все больше взрослые люди, повидавшие жизнь, – на моем первом курсе нас, школьников, было, к примеру, всего трое.

В одной из институтских стѣнгазет того года была даже карикатура на Мармишу (так за глаза ее звали студенты, а в глаза – близкие) – маленькая Мария Михайловна на неправдоподобно высоченных каблуках гасит о каблук такую же неправдоподобно длинную папиросу... Читая лекции хорошо поставленным голосом, она почти непрерывно вращала огромными черными зрачками. Потом, когда я узнала ее ближе, узнала и то, что это один из симптомов того серьезного заболевания, которое было у нее. Иногда в середине разговора она могла неожиданно грохнуться оземь с высоты своих тонких каблуков, и тогда надо было постараться разжать ее кулачки, произвольно крепко сжатые, – начинать надо было с мизинца. Этому она сама меня научила, когда я поселилась у нее.

Моя комнатка-гробик была очень далека от центра, добираться трамваем надо было не менее двух, а может, и более часов. «Электрозаводскую» станцию метро тогда только начинали строить. А Мармиша жила на Тверской, в доме на пересечении с Козихинским переулком, где размещался стол заказов соседнего Елисеевского гастронома. Там, на 5-м этаже, в так называемой «надстройке» она



жила одна в квартире, состоящей из огромной, не менее двадцати квадратных метров, комнаты, но это была отдельная квартира со всеми удобствами. С лестничной площадки вы попадали в коридор, куда выходили двери двух квартир – Марии Михайловны и Веры Эдуардовны Николаевой, которая много лет была бессменным секретарем учебной части и бессменной героиней литинститутского фольклора. Была она очень своеобразным человеком, чем-то даже совпадая с некоторыми из бессмертных героинь Марии Владимировны Мироновой.

Очень эффектная и элегантная дама, она воплощала классический тип секретарши, увековеченный Мироновой, и владела всеми нюансами профессии – от ледяной администраторской вежливости до изящно замаскированной любезностью фамильярности. Студенты ее побаивались и по-своему любили, сочиняя о ней анекдоты и «капустные» частушки. Ни того ни другого за давностью лет не помню. Зато помню ее сына-подростка Андрея, который, когда его спрашивали – кем ты хочешь стать? – отвечал: буду клоуном, и стал клоуном Андреем Николаевым, широко известным и талантливым. В доброте Веры Эдуардовны я убедилась не только, когда жила по соседству, у Марии Михайловны, но и много позже, когда, приехав в Москву в декабре 56-го после реабилитации, попросила ее разыскать важный для меня документ – справку о снятии судимости, выданную по возвращении в институт из штрафной роты. Вера Эдуардовна не только разыскала ее в архиве, но и вернула мне подлинник, оставив в архиве копию, ею же самой и заверенную.

Муж Марии Михайловны Глеб Петрович тоже преподавал политэкономии, но в 38-м был арестован. Когда в 39-м, при смене Ежова на Берия был небольшой «просвет», его выпустили, но ненадолго – в 40-м снова арестовали. Думаю, что именно потому Мармиша и пригласила меня жить к себе, чтобы хоть как-то скрасить одиночество в постылой огромной комнате.

Довоенный Литинститут был, конечно, уникален не только как единственное тогда в мире учебное заведение, «учившее на писателей». Все понимали, конечно, что «на писателя» нельзя «выучиться», но творческие семинары выдающихся прозаиков и поэтов очень много давали начинающим литераторам: развивали вкус, создавали понимание уровня истинной литературы и учили профессиональному мастерству. Но кроме всего этого в предвоенном Литинституте, да и какое-то время в военную еще пору, жил дух некоей вольности, либерализма, демократичности.

Жила я у Мармиши весь 40-й год и часть 41-го. Здесь услышала о войне, отсюда бегала на краткосрочные курсы медсестер, отсюда уехала на Б. Семеновскую за тканью для рюкзака и, не заходя больше ни домой, ни сюда, ушла в военкомат в надежде попасть на фронт. Сюда же и вернулась после первой, так и не удавшейся попытки ухода на войну.

...В августе или, вероятнее всего, в сентябре, Мармиша уехала в эвакуацию с сестрой, женой одного из командиров испанской интербригады. Когда потом я приезжала в Москву (не так часто, как хотелось бы!), мне всегда не хватало времени, а потом и сил – каюсь – я так и не разыскала Мармишу... Кто-то рассказал, что она дожила до глубокой старости.

Низко кланяюсь ее мудрой доброте, ее душевной щедрости. И давно поняла, что душевные долги тем добрым людям, что в разное время мне помогали и кого я так и не сумела или не успела разыскать, отдавать можно только единственным способом – помогать другим, чтобы не прервалась цепочка добра...

* * *

Экзамены за 2 курс я сдавала в начале июня 41-го года, предварительно все подготовив для приезда брата – удалось договориться, что его примут в ФЗУ с общежитием, хотя ему еще не было необходимых 14-ти лет. Я собиралась взять отпуск, сдав сессию, и поехать за ним в Новоукраинку.

Забегая вперед, должна рассказать подробнее о его судьбе. В марте 41-го ему исполнилось 13 лет. Он переписывался со мной и с мамой, отбывавшей свой «чезесировский» («члена семьи изменника родины») срок в одном из лагунктов Темниковских лагерей. Сохранились его письма маме, в одном – черные цензурные вымарки, сквозь которые и сегодня нельзя разобрать, что было написано... Может быть, вопрос, заданный им однажды в письме ко мне – «правда ли, что наш папа – “враг народа”?...». Даже письмо детдомовского ребенка репрессированной матери в лагере цензуровалось... Рядом с мамой отбывала срок женщина, тоже получавшая письма из того же детдома. Тяжко даже представить себе состояние мамы, когда письма из детдома, переставшие было приходить с началом войны, снова стали получать в лагере, и ее товарка по беде получила наконец письмо от своего сына из приволжского городка, куда эвакуировали их детдом, а мама совсем перестала получать письма от Артика...

До самой своей смерти в 47-м она разыскивала его во всех возможных инстанциях, но так и умерла, не узнав ничего. И, может быть, это и хорошо. Я же после ее смерти продолжила поиски брата, и так как отовсюду приходили отрицательные ответы, догадалась, наконец, написать прямо в Новоукраинский горсовет, и вскоре получила ответ от одной из его служащих, тоже бывшей детдомовки, в котором она коротко рассказала о судьбе Артура.

В панической эвакуации (гитлеровцы должны были вот-вот войти в город) не всех детей удалось собрать и отправить. Наш Артик, эта девочка и еще несколько детей остались в занятой фашистами Новоукраинке. Какое-то время им удалось продержаться, хотя жили впроголодь, – просили подаяние, а может быть, и подворовывали... Но все-таки гитлеровцы обнаружили Артика, а может быть, кто-нибудь выдал, что он еврей. Ответ из Новоукраинки пришел незадолго до моего ареста, и до сих пор я так ничего и не знаю о его судьбе и гибели, хотя и после освобождения пыталась его разыскивать через Красный Крест.

* * *

...23 июня 41-го года три студентки Литинститута – Лена Ржевская, Вика Мальт и я записались на РОККовские краткосрочные курсы медсестер. Вскоре к нам присоединилась студентка ИФЛИ Юлия (Юка) Капусто. Занимались на сцене Камерного театра, расположенного рядом с институтом, и в каком-то старинном одноэтажном здании на другой стороне Тверского бульвара. Практику проходили в отделении челюстно-лицевой хирургии 1-й Градской больницы... После окончания курсов я не раз обращалась в военкомат с просьбой послать на фронт, но мне регулярно отвечали: «понадобится – вызовем». А в трагически памятный день 16 октября 41-го года, когда стало известно о прорыве гитлеровцев под Малоярославцем, я окончательно решила уйти на фронт.

Решение пришло после того, как в этот день в институте на дверях я прочла объявление: «Всем студентам получить в бухгалтерии по 50 рублей для эвакуации в г. Горький. Сбор на пристани». Было как-то неуютно. Утром, встав в

очередь за хлебом (еще накануне ничего подобного не было, а тут очередь из филипповской булочной на улице Горького растянулась до площади Пушкина и обратно), я оказалась последней, кому достался белый хлеб. Собственно, он был не белым, а желтым – с примесью кукурузной муки. Когда он был свежим, он был не только очень красивым, аппетитным и пышным, но и очень вкусным, но быстро черствел. Такой хлеб в Москве стали выпекать в 40-м году после присоединения Западной Украины и Бессарабии.

Конечно, не эта очередь сыграла главную роль в моем решении – но все вместе: и та атмосфера всеобщей паники, которая как-то сразу возникла вокруг еще и оттого, что на всех предприятиях и во всех учреждениях выдавали вперед двухнедельную зарплату и эвакуировали людей; и объявление на дверях в институте – все это вместе привело к окончательному решению. Я поняла, что перспектива как-то (а как, неизвестно) добираться до пристани в Горьком меня не устраивает.

Надо заметить, что в те тревожные дни я прибилась к одной компании – в переулке на Б. Дмитровке жила недавняя студентка нашего института переводчица Лида Кошке. Работала она шофером грузовика, хотя была переводчицей с немецкого и сотрудничала с немецкой редакцией Радиокомитета. Двое ее детей были в эвакуации, жили у отца бывшего ее мужа, начальника Чирчикстроя. А в большой ее квартире собралась довольно своеобразная команда – близкий ее приятель, переводчик с французского, фамилию запомнила. Еще – инженер с завода «Манометр», бывший муж ее подруги. Всем им было лет по тридцати, я была самая юная. Мария Михайловна тогда уже эвакуировалась. Эвакуировалась с больным мужем и годовалым сыном подруга Римма. Эвакуировалась и Нина, еще одна близкая моя подруга. И от одиночества и неуютно я прибилась к теплому дому Лиды... Именно туда «на огонек» заглянула вечером 15 октября парторг нашего института, бывшая студентка, а тогда уже преподаватель Слава Владимировна Щиринина. В столовой под оранжевым абажуром было тепло и уютно, по радио звучали вальсы Штрауса, а Слава рассказывала нам все, что узнала вчера о прорыве под Малоярославцем, и с тревогой размышляла, что будет дальше. И я, младшая, конечно, не могла не поддаться этому тревожному настроению. 16 октября я отправилась в близлежащие спортмагазины искать рюкзак (на всякий случай) и, конечно, не нашла, уже все были раскуплены. Вечером пришла к Лиде. Там, все под тем же солнечным абажуром в столовой и состоялся «военный совет». Переводчик сказал: «Лида умеет вести машину, в городе паника, много брошенных легковушек. Надо хватать первую попавшуюся и ехать на восток. Пока хватит бензина...». Лида с каким-то отрешенным лицом и без всякого выражения произнесла: «Я никуда не поеду. Во-первых, я не верю, что Москву сдадут. Во-вторых, если все же такое случится, то я – немка, фон Кошке, меня не тронут...». Инженер Боря сказал, что он во взрывной бригаде своего завода и потому никуда не имеет права двигаться... Много позже, вспоминая этот эпизод, я догадалась, что Лида не могла нам всего рассказать: она действительно осталась бы в сданной Москве, если бы все же это несчастье случилось, но не как немка фон Кошке, а как наша разведчица... В ту тревожную зиму она встретила своего будущего второго мужа, военного корреспондента, морского писателя Владимира Рудного, с которым прожила потом долгую и счастливую жизнь.

Утром 17 октября я вспомнила, что дома на Б. Семеновской оставался кусок декоративной ткани еще от домашних маминых штор, из которого может получиться хороший дорожный мешок, и отправилась туда. В моей комнатенке был репродуктор – звучали марши, вальсы, но периодически музыка прерывалась, и пытающийся сохранить невозмутимость диктор сообщал: «Через 20 минут слушайте выступление председателя Московского Совета...». Так повторялось несколько раз. Тогда и пришло окончательное решение – я вспомнила, что на соседней улице находится наш Сталинский райвоенкомат. Меня только и спросили там: «Сейчас можете?». Я попросила время на сборы – поехала к тете сшить вещмешок. В семь вечера явилась на сборный пункт в свою маршевую роту, позвонила оттуда по автомату Славе Щириной, сообщила – ухожу в армию, попрощалась. Уже за заставой оглянулась – небо розовело. Москву бомбили...

Хотя я очень отказывалась, меня вместе с еще одной медсестрой усадили на двуколку – «дорога дальняя, успеете еще нашагаться пехом!...».

Из Москвы выводили, что называется, «живую силу» – в маршевые роты мобилизовывали всех, кого можно было и кого нельзя, и, не обмундировав, не до того было (лишь в паспорте ставили штамп о мобилизации), людей срочно отправляли «своим ходом» на восток.

В нашей роте при выходе из Москвы было примерно 350 человек. Нас то догоняли, то перегоняли такие же маршевые роты, шли свободным строем, кто как мог.

Вскоре я озябла, едучи в двуколке, да и пора было проверить состояние бойцов, не отстал ли кто. Оказалось, что кому-то стало плохо, надо было им помочь. Мобилизация была настолько спешная, что никого не комиссовали. Ярче всех запомнились двое. Один из них – пожилой мужчина, которому до снятия с воинского учета оставались считанные дни. Идти пешком ему было очень трудно, так как у него было очень серьезное проктологическое заболевание. Усадила его в двуколку. Вскоре и она, и телега с провиантом, шедшая в конце колонны, оказались заполнены больными. Другой – подросток. Он шел, чуть не плача – каждый шаг доставлял ему сильнейшую боль, но он упорно отказывался сесть на телегу. В конце концов мне удалось его уговорить, да и видно было, что ему уже неважно. Оказалось, что ему не 18 лет, как записано в паспорте, – его матушка, многодетная вдова, приписала ему два года, чтобы его могли взять на завод и он помогал семье. А ботинки в дорогу дала новые, лучшие, а он уже из них вырос, но, чтоб не огорчать матушку, кое-как втиснулся в них...

Всю ту ночь мы шли безостановочно, видимо, даже побили какой-нибудь рекорд, потому что утром стали на привал в подмосковном городке Ногинске. А это было, наверно, не меньше 50 километров. Откуда только силы брали?

Впечатления той ночи запомнились навсегда – сперва на обочине дороги у кювета увидели раздавленного пса. Потом – труп подростка в форме ФЗУ; ближе к рассвету – тела еще нескольких фээзушников, рядом выложенные за кюветом... По соображениям маскировки машины мчались без света, вот и сшибали тех, кто не успевал сойти с дороги. С тяжелым чувством вошла я в Ногинск. Там мы расположились в каком-то клубе, почти все свалились без сил, кто где стоял, а я, перемогая себя, отправилась проверять состояние людей и делать все, что требовалось по уставу и должности. Видимо, в экстремальных ситуациях у людей открываются скрытые резервы...

Меня окликнул какой-то мужчина в кожаной куртке, он оказался московским таксистом, человеком запасливым: «Присядь, сестра, перекуси, – протянул кусок вареной курицы, жестяную кружку. – Хлебни чуток, а то сама заболеешь...». Убежденно сказал: «Я на фронт хочу! А нас, видать, в тыл ведут – сбегу!». Наверное, он так и сделал, потому что когда мы добрались до места назначения, вместо 350 человек, выходявших из Москвы, в нашей роте оказалось человек 150–100, точнее, конечно, не помню.

Таксист оказался прав – нас выводили в тыл, и в Действующую армию я тогда не попала – с разнообразными «приключениями» (то отставала от своих, то обгоняла их – шли вольно, в гражданской одежде) я добралась сперва до Владимира, потом вместе со всеми до Мурома, потом на поезде приехала в Йошкар-Олу. Там, к моменту нашего появления, собралось в одной из школ города, превращенной в общежитие, около сотни медсестер-«краткосрочниц». В Йошкар-Оле переформировывалась уже побывавшая в боях 46-я стрелковая бригада, где сохранился в основном кадровый медперсонал.

По дороге в Йошкар-Олу я подружилась с Ксаной, красивой студенткой Московского института инженеров-водников, так же, как и я, добровольно ушедшей в армию. Из Мурома мы вместе добирались в переполненном поезде до Йошкар-Олы, вместе же получили назначение в 133-й стрелковый полк. В расположении полка были казармы и несколько административных зданий. На третьем этаже кирпичного красного дома нас поместили в каком-то служебном кабинете. Когда стемнело, выяснилось, что дверь к нам не имеет ни запора, ни замка. Мы пододвинули к ней тяжелый двухтумбовый письменный стол и, как оказалось, правильно сделали – ночью к нам ломились. Судя по голосам – несколько пьяных. Ранним утром, собрав свои немудреные пожитки, мы подошли к часовому у ворот и буднично так сказали, что нас вызвали к бригадному хирургу на совещание. Бригадный хирург был старшим командиром для медперсонала, мы рассказали ему все как есть, и он направил нас в 1-й отдельный батальон связи. Там нас встретили без особого энтузиазма, но на работу послали – в банный наряд.

Обязанности были несложными – в предбаннике объяснять бойцам, как связывать вещи для прожарки от вшей, в бане – дезинфицировать сулемой уже их самих от лобковых паразитов и потом, после мытья, в другом помещении, так сказать, «послебаннике», помочь разобраться с одеждой, поступающей из дезокамеры... Но пикантность ситуации была в том, что обмундировать нас все еще не успели, мы были в своем, гражданском, даже белых халатов у нас не было, а бойцы были наши ровесники, в большинстве московские студенты, отдельный батальон связи – подразделение специализированное, где требовался определенный уровень знаний и культуры, и потому формировался в основном из студентов.

С каменными от смущения, «официальными» лицами мы распоряжались: «Ремни и обувь – отдельно, отдельно головные уборы, отдельно одежду». Новобранцы, тоже еще не обмундированные, смущались не меньше нас и, прикрываясь, бочком пробегали в баню.

Мы успели провести не больше двух-трех нарядов, как нас вызвали в штаб батальона. Заместитель начальника штаба с облегчением сообщил нам, что пришел приказ о демобилизации «краткосрочных» медсестер. Нас, как я уже упоминала, собралось в одной из школ Йошкар-Олы около сотни.

– Выбирайте любое место в Советском Союзе, – великодушно объявил он, – я выпишу вам литер в любой город на востоке.

Может быть, Ксане было куда ехать, но у меня в целом мире кроме мамы в Темниковских лагерях, брата в детдоме на Украине да тети с дядей в Москве – никого не было; и я решительно возразила: только в Москву, деваться мне больше некуда...

До Мурома мы снова ехали в переполненном поезде, а от Мурома остались одни в пустом и ледяном общем вагоне. Когда мы выскочили на деревянный настил перрона Ярославского вокзала, услышали привычные, почти родные звуки – завывала сирена «воздушной тревоги». Тетя с дядей жили недалеко от площади трех вокзалов, на Нижне-Красносельской – мы успели застать их еще до ухода в убежище...

Это было 27 ноября 1941 года. До декабрьского контрнаступления под Москвой оставалось восемь дней.

Я не помню сейчас, когда я узнала о судьбе 1-го отдельного батальона связи. Но как узнала, помню: я изредка навещала родителей Шуры Петряева, к тому времени уже получивших известие о его гибели. И однажды Ольга Дмитриевна, мама Шуры, встретила меня с помертвевшим лицом и бесцветным голосом сказала – «Диму тоже убили...». А я уже знала к тому времени, что в ноябре Дмитрия, младшего брата Шуры, тоже призвали, и что попал он как раз в тот самый 1-й отдельный батальон связи 46-й стрелковой бригады, и что разминулись мы с ним самую малость...

Бригаду бросили на прорыв под Вязьмой, где она была почти полностью уничтожена.

* * *

Оказалось, что Литинститут не прекращал занятий ни на один день, что никакой эвакуации не было: вместо ушедших на фронт быстро набрали девушек и белобилетников (благо, всегда был высокий конкурс, да и заочники-москвичи стали очниками). В Доме Герцена было так холодно, что только самые молодые из преподавателей снимали в аудиториях теплые шапки, а те, кто постарше, так и читали – в головных уборах.

Зима 41–42-го года была лютой – с морозами под 30. И вот в той компании, о которой я уже писала и куда вернулась после неудавшегося добровольного ухода на фронт, где меня опекали как младшую, было решено «утеплить» меня. Боря, инженер с завода «Манометр», принес свою старую «москвичку», не помню откуда мне достались утепленные ботиночки на кнопках, образца двадцатых годов, у которых был один, но существенный недостаток – почти не осталось подошв, и ботиночки навечно были вдеты в калошки. Несколько слов о том, что такое «москвичка», которую нынче никто почти даже из старых людей не носит. Это мужское зимнее полупальто с меховым воротником, часто подбитое мехом. Вот и Борина «москвичка» была подбита кроличьим мехом. Хотя хозяин ее был невысоким, она была мне все же велика, и рукава длинны. Но так как у меня в ту пору не было варежек, я засовывала руки в рукава, как в муфту, поглубже. А чтобы было потеплее, спинной хлястик распорол и застегивала спереди булавкой: получалось что-то вроде пояса. «Москвичка» была из какой-то темно-серой шерстяной ткани, а хлястик оказался с коричневой фланелевой

подкладкой, вывернутой наружу. Но меня тогда это не смущало – лишь бы теплее было! На голову в виде модного тогда тюрбана приспособила красиво вывязанную из рыжей и розовой шерсти наволочку для диванной подушки, подаренную мне тетей. Когда, раздеваясь в помещении, снимала «москвичку», то сзади на папиных темно-коричневых спортивных брюках, случайно уцелевших при конфискации его вещей (они были мне порядком великоваты), оседало довольно много кроличьего меха. Красная шерстяная ажурная кофточка с вырезом лодочкой и короткими рукавами довершала мое одеяние. Выглядела я весьма экстравагантно, чтобы не сказать очень странно!..

Именно в таком одеянии меня и заметил новый студент, оказавшийся на курсе в то время, что я отсутствовала, – Алексей Страхов, бывший ВГИКовец. Его институт эвакуировался в Алма-Ату, а он, студент сценарного факультета, перевелся к нам. Почему его не призвали в армию, я и до сих пор не знаю – то ли как единственного сына у одинокой матери (кажется, была тогда такая льгота), то ли как сына репрессированного: когда мы вскоре подружились, я узнала, что и у Алешы в 37-м отец был арестован и, подобно моему, получил «десять лет без права переписки» в качестве «врага народа».

Алексей был высоким красивым юношей, похожим на молодого Александра Блока – такое же удлинненное благородное лицо, светло-пепельные вьющиеся волосы над высоким лбом, светлые серые глаза. Я напрочь не помню, как именно мы познакомились, и могу только догадываться, что его привлекло во мне. Скорее всего то, что я была уж очень не похожа на других студенток – ухоженных маминных дочек, красивых, высоких, нарядных по сравнению со мной. И еще, наверно, то, что я, хоть и не совсем удачно, пыталась уйти на фронт. Так или иначе, мы очень быстро подружились, а вскоре и сблизились, полюбив друг друга.

Оставшись в шестнадцать лет без родителей, предоставленная во всех смыслах самой себе, я к своему двадцатилетию уже, к сожалению, имела некоторый любовный опыт. В семнадцать лет я была готова беззаветно любить и – полюбила. Но, как водится, первая любовь оказалась не то чтобы несчастной, но не сложившейся. Моего возлюбленного, когда он уехал на зимние каникулы в феврале 39-го в родной город, дома срочно женили. Мы расстались, и ненадолго соединились потом перед его добровольным уходом на финскую войну. После возвращения его с войны – расстались окончательно.

Ко времени встречи с Алешей я не была уже той влюбчивой девочкой, которая летела на первый встречный огонек таким мотыльком, крылышки были уже обожжены. Но, видимо, жажда любви, семьи, основательности была сильнее моего не очень удачливого женского опыта.

Сперва мы с Алешей встречались, отогревая друг друга дыханием, в ледяной квартире Мармиши. А вскоре он привел меня к себе домой, на 1-й Щипковский переулок, и познакомил с мамой, акмеистской поэтессой Натальей Авиловой. Наталья Федоровна Страхова-Авилова была дочерью известного толстовца Федора Федоровича Страхова, тогда числящегося в крайних реакционерах, хотя его уже давно не было в живых.

И сама она, и муж ее, пропавший в 37-м, были убежденными толстовцами. Алеша таким не был, но вегетарианцем она его все же воспитала, и помню, как он чуть не плакал, когда, раздобыв в магазине рыбы головы, Наталья Федоровна сварила уху, а он не мог ее есть, хотя был очень голоден. В институтском

буфетном подвальчике иногда давали пельмени, и мы ели их вместе – он тесто, а я начинку. Иногда там же продавали дочерна изжаренные куски сухой утки, и Алеша шутил – ешь свою жареную ворону!

Когда Алеша привел меня домой со словами – «этой девочке негде жить, она ночует у знакомых, пусть поживет у нас», я, естественно, не глянулась его маме, как это почти всегда бывает с мамами единственных сыновей, воспитываемых в одиночку. И, поняв это, я вернулась к себе, на Б. Семеновскую. Там тоже были ледяные батареи, как у Мармиши, комнатка была крохотная, но в ней легче было надыхать тепло.

Помню, как горько я там плакала от невозможности быть с Алексеем: у меня и в мыслях не было отобрать единственного сына у матери, хоть я и понимала, что если бы очень захотела, это мне, может, и удалось бы, пусть и ненадолго. Но Алеше без меня тоже было худо, потому что вскоре он привел меня в дом насовсем, и Наталья Федоровна то ли смирилась с моим присутствием, то ли приняла меня – не в душу, конечно, – в дом ради сына. Март и апрель я уже жила у них постоянно. Неумеха, училась готовить, топила буржуйку. В начале мая посадили на даче картошку. Была ли у них дача раньше или Наталье Федоровне дали ее в ВЦСПС, где она работала машинисткой, не помню. В институте для весенних посадок выдали по ведру картошки, у нас получилось два ведра на двоих.

А на даче было двухэтажное светлое деревянное строение, еще необжитое, потому-то пахло «сосной и хвоей», как я потом написала в одном из стихотворений...

Было столько настоящего счастья той весной!.. И, конечно, оно не могло не кончиться бедой.

Еще в начале марта, когда мы уже окончательно сблизились и поняли, что нам нельзя быть врозь, Алеша дал мне прочесть свой сценарий «Синий платочек» – эта милая бесхитростная песенка начинала тогда свою жизнь, ее пели всюду – в тылу и на фронте, а потом она стала знаком времени...

Сценарий был написан талантливо и профессионально. По ряду причин мне к тому времени удалось прочесть много хороших американских сценариев, печатавшихся в наших журналах, и я кое-что стала понимать в этом. Но сюжет Лешиного сценария меня удивил, даже озадачил. В нем рассказывалось о том, как в военную Москву оказался заброшен в форме командира Красной Армии молодой человек, попавший в первые дни войны в плен к фашистам и под угрозой смерти завербованный ими. Герой сценария выслеживает его. Драматичность была в том, что оба любят одну и ту же молодую женщину, свою бывшую одноклассницу, но она-то полюбила того, кто был завербован. Сообщить о нем в «органы» значило для героя сценария предать ту, которую полюбил еще в школе. Действие обрывалось на нейтральной полосе, когда «шпион» собирается переходить линию фронта, а герой его преследует...

Озадаченная необычностью сюжета, я спросила у Алеши – откуда он взял его, почему возник такой сюжет? И он рассказал мне, что сюжет взят им из своей собственной жизни.

Это он, Алеша Страхов, любил еще в школе одноклассницу, Марианну Шолохову, ныне студентку какого-то музыкального училища. Но, как это часто бывает, для нее он был чем-то вроде брата, всего лишь другом-одноклассником.

А полюбила она и сблизилась совсем с другим человеком, тоже музыкантом, но военным – курсантом военно-музыкального училища. Вот он-то и попал в плен и был завербован и заслан в Москву даже не один, а с кем-то в паре. И жил здесь, скрываясь то у Марианны, то где-то у родственников своего напарника. Подробности эти меня ошеломили и испугали: «Почему же ты не пойдешь сообщить об этом куда следует?» – спросила я его. Он ответил, что еще не пришло время, что он выжидает, чтобы все было доказательно... Я немного успокоилась – дочка репрессированных родителей, ни минуты не верившая в их вину, я и сама уже не очень доверяла органам. Но Алеше поверила, что придет время – и он сообщит куда надо... Алеша дал мне прочесть несколько тетрадей своих дневников – это были беспредельно честные откровенные записи о том, что его терзало и как ему жилось. Вести он их начал еще до войны. Возник образ молодого человека, раздираемого противоречиями, жившего как бы в двух мирах. Один мир – семья, мама – акмеистская поэтесса Наталья Авилова, двоюродная сестра той знаменитой чеховской Лидии Авиловой; ни за что репрессированный отец из то ли донских, то ли кубанских негоциантов, тоже убежденный толстовец, хотя, по рассказам Алексея, человек азартный, игрок по природе. И – советская школа, вуз, вся реальность жизни, по-своему увлекательной: замечательный институт – ВГИК, один из лучших творческих вузов тогда, интереснейшие преподаватели, прекрасные старые фильмы – классика мирового кино, студенческая жизнь. И тут же безответная любовь к Марианне... Сообщить о ее любимом значило предать ее.

Это полное, безоговорочное доверие Алеша ко мне обезоруживало меня – я видела, что любит он меня, а не ее, и, когда он уходил туда с байковыми одеялами для ее возлюбленного, я не ревновала. Кто сейчас может сказать, что надо было делать? Может быть, и надо было разыграть ревность и тем остановить его в романтическом безрассудстве? По-настоящему я испугалась в конце апреля, когда Алеша привел к нам этого Зуевича и помог ему изготовить печать на какой-то подложной справке. Наверное, на этой справке Зуевич с сообщником и попался...

5 мая 1942 года Алешу арестовали. 13 июня – пришли за его дневниками. Но к тому времени по настоянию Натальи Федоровны я сожгла его дневники в «буржуйке» на кухне. Меня пригласили пересказать их содержание и увезли на Большую Лубянку...

Зная содержание Лешиних дневников, я не хотела их жечь, надеясь, что их, может быть, затребуют и увидят, что не злоумышление руководило Алексеем, когда он выручал этого Зуевича ради Марианны. Это была прежде всего обычная порядочность по отношению к ней. И еще – так часто свойственная молодым мужчинам тяга к приключениям, своего рода неизжитый полудетский романтизм. Но если ничего этого не принимать в расчет, то по фактам это, конечно же, было преступление. Шла страшная война, и любое пособничество врагам было преступлением...

Но тут я вынуждена прервать себя – я писала эти строки, осмысляя события полувековой давности зимой 93-го года, прочитав свое следственное дело и кое-что освежив по нему в памяти – точный адрес Алешиней квартиры, дату его ареста. Узнала дату его расстрела... Я не знала тогда, что Комиссия по пересмотру дел о политических репрессиях, которой руководит А. Н. Яковлев, уже запросила следственные документы по этому делу и пересматривает его. Только удивилась, когда, запросив свое дело 42-го года (работая над этими записями, я поняла, что мне необходимо его прочесть), получила ответ, что его нет в архиве... И все же, поразмыслив,

я поняла – я должна рассказать об этом деле, об этом своем аресте все, что помню, чтобы многое стало потом по местам в моей дальнейшей судьбе и аресте 48-го года.

А летом 93-го я получила запрос Военной прокуратуры России с просьбой дать показания об этом деле, там был и вопрос, оскорбивший меня, – не оговорила ли я кого-нибудь, в том числе и себя, дачей ложных показаний, и если да, то почему? С оказией (чтобы дошло наверняка) я отправила свой ответ с подробностями обо всем, что уже рассказала здесь выше и со своей версией понимания причин проступков Алеша. В октябре 1993 года я получила из Военной прокуратуры России справку о реабилитации по делу 42-го года. Я не думала, что реабилитировали по этому делу только меня – пересмотр моей вины означал, мне казалось, пересмотр всего дела. И стало мне так горько – нет, не за свою жизнь. Она в принципе состоялась. Ведь если человек чего-то стоит и если он жив, то, как правило, он осуществляется как личность, и если хоть мало-мальски даровит, то реализует свое дарование, хотя и не всегда в полную меру... Но Алексея Страхова – молодого, умного, талантливого и красивого – в живых не осталось...

Возвращаюсь в июнь 42-го. Я пыталась убедить Наталью Федоровну не жечь дневники, но и послушаться ее не смела. А сейчас вот пришли за мной, точнее – за этими тетрадками. Я думаю, что это не было просто предложением, чтобы взять меня. Судя по тому, как со мной говорила моя следователь (кажется, ее фамилия была Мансурова), – строго, но вместе с тем доброжелательно, я считаю, что они искренне хотели разобраться в мотивах, побудивших Алексея помогать этому Зуевичу.

Однажды Мансурова спросила: «Скажите, кто такой Федя?». Я переспросила: «Какой Федя?». «Посмотрите на пюпитр», – приказала она. Подследственные сидели в углу кабинета за деревянным пюпитром, на котором можно было писать и собственноручные показания в случае необходимости, и подписывать протоколы. На пюпитре по дереву было выцарапано чем-то острым: «Руфь? Где Федя?». Чем Алеша ухитрился сделать эту надпись, я не знаю, но, вероятно, заметив его старания, ему незаметно дали возможность осуществить свое намерение, в надежде узнать что-то новое о нем или обо мне. А это был наш с Алешей неродившийся ребенок – когда Алешу увели, я была беременна. Когда я поняла, что жду Алешинного ребенка, попыталась сделать все, чтобы его не было: война, недоедание – все делало появление его несвоевременным. Но, видимо, молодой здоровый организм не так легко поддавался всяким измышательствам над собой, и в конце концов мы решили оставить беременность, надеясь, что будет сын и что в честь деда, отца Натальи Федоровны, мы назовем его Федором. Вот о нем Алеша и спрашивал меня. Но к тому времени у меня уже случился в тюрьме выкидыш, вероятно, от нервного шока... На неделю меня отвозили в Бутырскую тюремную больницу, где была леденящая душу и тело абсолютно стерильная чистота кафельного пола и стен, на обед манная каша в алюминиевых мисках и даже белый хлеб. И отличная библиотека – тоже.

...В камерах внутренней тюрьмы большого дома на Лубянке было идеально чисто. Окна выходили во двор, но были снаружи покрашены темно-синей краской и еще были закрыты козырьком, так что дневной свет просачивался сверху в очень скромных количествах – днем в камере было сумеречно. Собственно, это были комнаты с паркетным полом, железными койками с чистым бельем и даже, кажется, с унитазом. Впрочем, боюсь соврать – не помню. Лежать днем не полагалось, а ночью надо было спать с выложенными на одеяло руками, и свет всю ночь не

выключался. На прогулку выводили на крышу, огороженную довольно высоким забором, но неба над головой было вдоволь... И хоть это была крыша высокого дома, откуда вряд ли можно было куда-то убежать, вышки по углам прогулочного двора и колючая проволока наверху каменного забора надежно гарантировали сохранность заключенных от любых неожиданностей... Снизу, с площади Дзержинского, доносился слитный густой шум живого большого города, иногда резко вырывались автомобильные гудки – продолжалась обычная напряженная жизнь...

В коридорах тюрьмы, которыми водили на допросы, были мягкие дорожки, заглушавшие шаги. Конвоиры подавали встречным сигналы загодя, стуча ключами по железным поясным пряжкам или цокая языком. Иногда ставили в «собачий ящик», так заключенные называли деревянные боксы, выстроенные у стен коридоров для того, чтобы заключенного спрятать от идущего навстречу другого заключенного. Изолированность друг от друга однодельцев, этот строжайший тюремный закон со мной чуть было не нарушился – в моей камере вскоре появилась красивая стройная женщина, еще сравнительно молодая, но с явными следами увядания. По ее рассказам и поведению я поняла, что она тоже проходит по нашему делу – она убивалась, что погубила своего пожилого мужа – профессора много старше ее. По этим ее рассказам я вычислила, что именно в ее доме обосновался напарник Зуевича, заброшенный вместе с ним в Москву, он был ее дальним родственником из белоэмигрантов. Все это я слышала мельком от Алеши и, сопоставив с ее рассказами, поняла, кто передо мной. Она не только приняла его в дом, но даже стала его любовницей и больше всего плакала, кляня себя за измену мужу, за то, что погубила его жизнь...

Но, конечно, не только я вычислила, что мы проходим по одному делу, но и следователи тоже. И меня быстренько перевели из этой камеры в другую. В новой камере неожиданно оказались совсем другие порядки: свет по ночам тоже не гас, но под потолком оказалась вместо обычной – синяя лампочка, и спать можно было уютно, укрывшись до подбородка одеялом, и никто не будил среди ночи, требуя выложить наверх руки. В камере стоял письменный стол и на нем – стопка писчей бумаги, карандаши, несколько словарей – русско-китайский, русско-японский, англо-японский и еще какие-то технические журналы на английском языке... Словом, меня посадили в камеру к вывезенной из лагеря (кажется, из Карлага) переводчице с китайского и японского языков. Это была «чеэсировка», досиживающая свой срок. Как ее звали, совершенно не помню. У нее были загрубевшие рабочие руки, загорелое лицо с резкими складками у губ и носа, которое в жару покрывалось крупными и обильными каплями пота. На обед мне приносили обычную тюремную еду, а ей почти что ресторанный. Она разрешила мне пользоваться бумагой и карандашом, но рисовать я не умела, а писать было некому... Ее привезли из лагеря специально для какого-то срочного перевода трофейных или разведчиками полученных военно-технических документов, возможно, обещая снижение срока, а мое присутствие ее, возможно, даже как-то развлекало.

...Но следствие по моему делу заканчивалось, и в конце августа меня перевезли в Бутырскую тюрьму. То ли под утро, то ли под вечер попала в большую общую камеру, где были широкие деревянные полати-нары, но, кажется, без верхних вагонок. Там, в общей камере Бутырок, я вычислила еще одну несчастную, имевшую отношение к нашему делу – немолодую измученную чью-то мать...

И все дни отчаянно тосковала об Алеше.

* * *

...В один из сентябрьских дней меня вызывают «с вещами». На дворе еще тепло по-летнему, и я радуюсь зеленой траве, ухоженному, с цветами на клумбах, дворику тюрьмы. Меня привели в какую-то старинную круглую башню, видимо, «Пугачевскую», в одиночку. Подробностей не помню, кроме одной – стерильная чистота. Через некоторое время вызывают снова, уже без вещей. В каком-то коридоре, довольно широком и светлом, – окна без козырьков, мимо проводят молодую беременную женщину с распущенными по плечам пепельными волосами. Потом догадалась – это и есть Марианна Шолохова. В тот день, видимо, всем по этому делу объявляли приговор. Потом узнала, что Марианна получила вместо вышки – 10 лет. Жизнь ей спас еще не родившийся ребенок. А спустя много лет, уже в Джеккагане, услышала от одной заключенной, что у них в культбригаде была московская пианистка Марианна Шолохова, у которой где-то в Москве у родных рос сын, родившийся в заключении. Это было примерно в году 50–51-м, Марианна досаживала свой десятилетний срок. Вероятно, после 20 съезда она вернулась в Москву или куда-нибудь поблизости. Больше о ней никогда ничего не слышала. Надеюсь, если она жива, что ее так же, как меня, реабилитировали по этому делу...

Где зачитали мне приговор, в каком помещении, я не помню.

Особое совещание НКВД определило мне три года ИТЛ по ст. 58 пункт 12 – недонесение о преступлении. Но в приговоре были и слова о замене срока направлением в Действующую армию. Не помню, чтобы я просила об этом – видимо, было какое-то положение насчет малосрочников во время войны. Возможно, учли молодость и то, что 17 октября я добровольно уходила в армию...

В тот же или на следующий день после приговора посадили в «воронок» и отвезли в Самарский переулочок, на Садово-Самотечную, на сборный эвакуационный пункт, где находился резерв среднего и младшего медперсонала. Подробностей этого помещения и каких-нибудь других об этом времени память почти не сохранила. Помню только, что занимались строевой подготовкой – много маршировали. Выделялась группа рослых, загорелых и краснощеких красивых девушек. Они, можно сказать, были отличницами – красиво и слаженно маршировали, по-солдатски лихо пели при этом. Возможно, это была какая-то баскетбольная или волейбольная команда. Еще запомнилось – объявились у нас морячки – медсестры с Тихоокеанского флота, морская пехота. Эти были аристократки – все ухоженные, подтянутые, щеголеватые. У каждой по несколько смен обмундирования индивидуального пошива – синяя и белая фланелька и форменка, рабочая роба, ладные юбочки, теплые бушлаты, синие и белые матросские воротники – гюйсы, как они их называли, аккуратные хромовые ботиночки строго по размеру. Держались они особняком, довольно надменно.

Вскоре я получила назначение – в формирующийся полевой госпиталь на ул. Басманной. Там и меня обмундировали – ладная гимнастерка, берет со звездочкой, форменная юбка, кирзовые сапожки, ремень, даже, кажется, с португеей. Ходила по Москве, когда посылали с каким-нибудь поручением. Но это длилось недолго – когда получили все необходимое оборудование (палатки, носилки, инструментарий и прочее), меня быстренько откомандировали снова в Самарский переулочок, на тот же сборный эвакуопункт. Морячек там уже не было, команда рослых спортсменов все еще маршировала, а меня тут же направили на Московский почтамт

и поставили на сортировку посылок. В день очередного какого-то возвращения на эвакуопункт меня, на этот раз вместе с командой мужчин, привезли на Белорусский вокзал – гомонящий, залузганный семечками, переполненный гражданскими беженцами и воинскими командами. Я, наконец, получила направление туда, куда мне полагалось: во 2-ю армейскую отдельную штрафную роту 41 стрелковой дивизии 40 армии – на Западный фронт. Располагалась эта часть в Орловской области за городом Ельцом у станции Верховье на разъезде Дичня. Было это уже в ноябре.

Еще не было таких штрафных рот, какую описал Морис Симашко в повести «Гу-га», не было еще ни заградотрядов, ни штрафных офицерских батальонов. Система армейских дисциплинарных частей только еще создавалась. Наша рота формировалась в штабе армии. Меня сразу же направили в распоряжение начальника санчасти роты, худого высокого старшего военфельдшера. Санчасть размещалась в большой, хорошо оборудованной землянке. Начальник оказался человеком аккуратным, педантичным, но, к счастью, без командирской фанаберии. Но он был службист и, помню, был очень шокирован одним эпизодом: в землянку вошел какой-то полковник, только что прибывший из Москвы, – мы вскочили, вытянулись, начальник отрапортовал, как положено. Но полковник, оказалось, зашел только погреться, к нам отношения не имел – это был какой-то московский вузовский преподаватель, только что мобилизованный в политработники. Прихлебывая горячий чай, он стал меня расспрашивать – кто я и откуда, нечаянно разговорились. Когда он ушел, мой начальник спросил – это что, твой знакомый? А узнав, что впервые увидела этого человека, откровенно возмутился: я посмела разговаривать, не соблюдая никакой субординации, а просто как недавняя студентка с недавним преподавателем.

* * *

У отличного поэта Юрия Левитанского одна из книг называется «Кинематограф», и есть в ней прекрасное стихотворение, ставшее даже песней, – «Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!». Я бы заметила, что это очень точно сказано, – но в «киносерпантине» длиною в жизнь запоминаются часто лишь отдельные мозаичные кадры. Вот и мне помнится ночь вывода нашей части на передовую – идем цепочкой друг за другом сперва по полю, потом по лесу. Ночь, но какая-то сизо-синяя, и если надо отойти в поле «по нужде», то все равно все видно, а я – единственная женщина в роте. Но у меня уже был небольшой «опыт» лагеря в Белых Столбах, где провела два месяца за опоздание: конвойные, отворачиваясь, разрешали – «ступай за спину...».

Пришлось бы мне худо, если бы рядом не оказался бывалый человек Сережа Нырков – отворачивался, заслоняя меня, настилал в лесу елового лапника, когда был небольшой привал и мы – спина к спине – немного подремывали. Когда совсем рассвело и наши командиры сориентировались на местности, оказалось, что мы ночью чуть было не забрели прямо в расположение гитлеровцев: тот, кто выводил нас на передовую, запомнил ориентиры ранней осенью, а сейчас все было заснежено.

Часть наша стояла в долговременной обороне под разъездом Дичня в Орловской области, а в феврале 43-го перешла в наступление. Недавно в какой-то статье я нашла объяснение одному странному обстоятельству этого наступления – гитлеровцы вдруг без видимой причины начали отступать. Наши части, конечно,

бросились им вдогонку, но ни авиация, ни артиллерия в этом наступлении не участвовали, и я часто думала – в чем же тут было дело? А в статье, что я недавно прочла, было рассказано, что в этом районе должна была дислоцироваться, сменяя нас, 16-я армия генерала Рокоссовского, которого гитлеровцы так боялись, что предпочли отступить, чем с ним сражаться.

В этом наступлении погиб Сережа Нырков. Еще в начале боя прибежал возбужденный, хвастал, показывая вмятину на каске: «Я – дальневосточник, охотник, от пули заговоренный...». У него и вправду была винтовка с оптическим прицелом, и он был снайпером. Но случайная пуля все же пробила его каску прямо в лоб, и это была очень горькая весть, потому что никогда больше ни на фронте, ни в лагере я не встречала такого бескорыстного и надежного человека, каким был Сережа. Пожалуй, одного все же встретила в 55-м году – своего будущего мужа. Но об этом – в свой черед. А здесь немного о Сереже.

Надо сказать, что он, братски опекавший меня, был осужден за убийство. Вообще наша штрафная рота состояла в основном из бытовиков, попросившихся на фронт, чтобы «смыть вину кровью». И Сергей, отсидевший уже больше половины своего десятилетнего срока, тоже подал заявление. Не знаю, было ли правдой то, что он рассказал о своей вине – служил на флоте, приехал в отпуск, приуроченный к свадьбе старшего брата. На свадьбе случилась большая драка, в которой брат убил своего обидчика. Сергей взял вину за убийство на себя – не знаю, что в этой истории было правдой, что романтическим вымыслом, очень похожим на сердцещипательные, мелодраматические истории из блатного фольклора. Выросший в дальневосточной тайге, он до флота был охотником и в лагере быстро стал вроде егеря при большом начальстве, был расконвоирован. Словом, жил, по его же словам, «как сыр в масле».

Мне, горожанке, да еще недавней студентке Литературного института, когда-то отчаянно завидовавшей девушкам, уезжавшим на Дальний Восток по призыву командирской жены Валентины Хетагуровой (их так и звали – хетагуровки), все это было необыкновенно интересно. В 35–37 годах надо было осваивать Дальний Восток, а женщин там было немного. Об этом пелись песни, писались книги, снимались фильмы – «Девушка с характером», дебют Валентины Серовой. Мне шел пятнадцатый год, и я очень терзалась невозможностью осуществить этот романтично-патриотический порыв.

По всему этому мне были очень интересны рассказы Сережи о Дальнем Востоке, и мы подолгу разговаривали с ним. Мешало мне в этих разговорах только одно – Сережа даже не замечал, что все время матерится. Точнее, даже не матерится, а просто разговаривает матом. И не то чтобы это меня шокировало – в Белых Столбах прелестные юные блатнячки тоже так разговаривали. Притом, когда я однажды попыталась говорить с ними на том же «языке», оборвали меня и еще прикрикнули: «Тебе не личит!», то есть не идет так разговаривать. Так что Сережин способ общения не столько шокировал меня, сколько мешал мне. Когда я сказала ему об этом, он даже извинился, объяснив, что так ему легче, привычней выражать свои мысли, и обещал следить за собой. Но, конечно, все время забывал, и я перестала обращать на это внимание.

Однажды, когда мы шли вдвоем по ходам сообщения (так назывались узенькие окопы, по которым из расположения добирались до передовой), он остановил меня и сказал: «Сестренка, скоро будет наступление, это очень опасно – давай я

стрельну тебе в ногу, в икру, никто ничего не узнает, а ты “искупишь вину кровью” и поедешь в тыл». Его предложение меня огорошило. «Сережа, – сказала я, – а что если бы такое я тебе предложила?..». – «Ну, я – другое дело, – ответил он, – я мужик, а ты девчонка...». – «Нет, – сказала я, – твое предложение мне не подходит, пусть будет, как будет». И мы пошли дальше по ходу сообщения и никогда больше не возвращались к этому разговору.

Я вспоминаю этот эпизод не для того, чтобы похвастать своей «храбростью» мужеством и т. п., а лишь для того, чтобы подробнее рассказать об этом благородном и чистом человеке.

* * *

Воспоминания о войне – сколько их уже было – и знаменитых военачальников, и рядовых, но у каждого из участников «своя война». И неважно, – сколько ты был на войне – день, неделю, год... Нет, конечно, очень важно, но ведь большая беда могла случиться и в самый первый день.

Когда впервые пришлось знакомиться с расположением нашей части, а попросту с окопами нашей активной обороны, мне довелось сопровождать своего начальника – ст. военфельдшера. Высокий лейтенант быстро, почти бегом шел по ходам сообщения, старательно пригибаясь, я едва поспевала за ним и тоже старательно пригибалась. А через пару дней в роту прибыл новый командир – девятнадцатилетний, решительный, небольшого росточка белобрысый лейтенант (тоже, по-видимому, «краткосрочник» – были тогда не только краткосрочные курсы медсестер, но и офицерские). Он собрал все ротное начальство – командиров взводов, замполита, начальника санчасти, который прихватил с собой и меня, и бегом повел на передовую. Там он, наоборот, умерил шаг и не спеша проверял все огневые точки и прочее. Он шел неторопливо, чуть вразвалку, всем своим видом демонстрируя безразличие к возможным попаданиям случайных немецких пуль, и только в некоторых местах, о которых было известно, что они уже пристреляны снайперами, пригибался, стараясь проскочить их побыстрее.

Отчетливо помню, что мне не то чтобы не было страшно, но было стыдно показать, что я боюсь. Страшно мне стало однажды, пару месяцев спустя. В одном из взводов на передовой был убит санитар, и какое-то время мне пришлось его замещать и жить в землянке на самой передовой. Мои санитарные «боеприпасы» кончались, и я отправилась за ними в расположение части. Надо заметить, что ходить в одиночку с передовой в расположение было строго-настрого запрещено. Но попутчика не нашлось, а бинты и индивидуальные пакеты кончились. Пока я шла ходами сообщения, где были бойцы, все было нормально. Но когда пришлось вылезти из окопа и пойти по тропинке в чистом снежном поле, стало так страшно, что я тут же забралась в ближнюю воронку... Как долго я там находилась, не помню – двое бойцов шли в расположение, вытащив из воронки, хорошенько меня отругали за то, что отправилась одна, а мне их сердитые слова казались музыкой.

Выглядела я тогда, вероятно, очень смешно: в белом маскхалате, надетом поверх ватных брюк и телогрейки, перепоясанном ремнем с висящими на нем двумя гранатами-лимонками. Еще вспоминается и такое, не имеющее отношения к боевым действиям, показывающее мое субъективное самочувствие, когда осенью выходили на передовую, я была обута в ботинки с обмотками. Ватные брюки с

внутренней стороны колен протирались от ходьбы, и вид был не очень аккуратный, хотя я все время чинила эти прорехи. Поэтому я очень обрадовалась, когда нас переобули в валенки и выдали маскхалаты. А уж то, что я почувствовала, когда девушка из соседнего батальона сделала мне царский подарок – сапожки по ноге, хотя и поношенные, поношенные же гимнастерку и юбочку из какой-то дешевой бумажной ткани, для описания этого у меня не хватит слов. Переодевшись в обновы, я ощутила себя как бы в вечернем платье...

Как звали эту милую девушку из соседнего батальона – Поля или Женя – не помню. Но история ее хорошо запомнилась, тем более что позже в лагере я подружилась с медсестрой Клавой Коптевой, с которой происходило на фронте нечто похожее. Но о Клаве позже, а сейчас – история моей недолгой подруги из соседнего батальона.

Командир отдельной штрафной роты по положению подчинялся непосредственно только командиру дивизии, а в бою штрафная рота придавалась одной из дивизионных частей. Такой частью и стал соседний батальон, разместившийся рядом с нами. Там тоже оказалась одна девушка – эта Женя или Поля. И естественно, что мы подружились. Бледненькую и хрупкую, ее, в отличие от меня, ставили по ночам часовым на пост у землянки, хотя она не была штрафницей. Это меня очень удивило, и в ответ на мои расспросы Поля-Женя рассказала свою историю: в штабе армии у нее был жених, молодой командир. Они познакомились на войне, полюбили друг друга, она стала переписываться с его мамой и, в конце концов, они решили пожениться. Но такие вольности тогда не поощрялись, и их разлучили, отправив ее в тот батальон, что расположился рядом с нами. Командир батальона стал бесцеремонно добиваться ее близости, но безуспешно. Тогда он не придумал ничего лучшего, чем ставить ее по ночам под ружье часовым у землянки.

Узнав об этом, я возмутилась и посоветовала ей обратиться к командиру дивизии и все рассказать. Но командир ее батальона тоже узнал о моем совете и решил наказать не только ее, но и меня, избавившись от неудобной советчицы. Наверняка он знал, как и почему я попала в штрафную роту, и придумал какую-то фантастическую по глупости историю, что я занимаюсь антисоветской агитацией. Подробностей его клеветы совершенно не помню. Помню только, что наш юный лейтенант вызвал меня и сурово допросил – правда ли это. Я рассказала ему историю своей бедной подруги и объяснила, для чего соседнему комбату надо меня оклеветать. И наш командир, умница, поверил мне и отпустил с миром. О дальнейшей судьбе этой девушки я так и не узнала, так как вскоре началось наше наступление.

* * *

В книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», в повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» все правда, все достоверно о женщинах на войне. Их было около миллиона – и мобилизованных по специальностям, и добровольцев: врачи, медсестры и санитарки, зенитчицы и связистки, снайперы и машинистки, прачки и пекари.

Война была жизнью страны. Оставалось жизнью на фронте все, что случалось в мирной жизни: любовь и страсть, влюбленность и случайные связи. В лучших книгах про войну – в «Звезде» и «Весне на Одере» Э. Казакевича, в «Диком меде»

Л. Первомайского, в «Жизни и судьбе» В. Гроссмана, в повестях В. Кондратьева о многом рассказано. Но многое еще ждет своего воплощения.

И одиночество, не женское, нет, – человеческое, та потребность перед лицом ежеминутной возможной гибели ощутить, что ты жив, поверить, что тебя не убьет и не ранит, наверное, многих и многих на войне, а не одну меня, подвело к случайной близости. Эта близость мужчин и женщин, живущих рядом со смертью, бывала спасительной...

Так и получилось, что, любя Алексея, терзаясь неведением о его судьбе, я родила 23 октября 1943 года свою бедную Алену. Я и назвала-то ее Еленой, чтобы называть потом Аленой, Алешей... Но, вероятно, есть Провиденье, есть Судьба, да и сама я еще внутренне не созрела в ту пору для материнства. Отца ее убили в том же наступлении, что и Сережу Ныркова, о котором я уже говорила.

* * *

У санинструктора есть бинты, вата, йод, самый минимальный набор для оказания первой помощи, и порой приходилось спасаться подручными средствами: у раненого не было даже заметно входного отверстия пули, но он, еще теплый, уже не дышал. И пульс нигде не прощупывался... Но все же на виске отыскалась чуть пульсирующая жилка. Теперь раненого надо было срочно обложить грелками, но в землянке санчасти ненамного теплее, чем за дверью, – декабрь. А рядом, в соседней землянке, кухня, только не нашей, а чужой части. Бегу туда, собрав несколько фляжек.

– Ребята, срочно нужен кипяток!

– Нету, сестра, все пустили в котлы, на щи...

– Наливайте во фляжки шей!..

По фляжке – на грудь, к сердцу, к ногам, к рукам, укутала, увезли... Довезли ли живого?..

Лодка-долбленка, которую волоком тащишь по снегу, тяжела сама по себе, а если в ней раненый – вдвое.

Были и трагикомические ситуации: во время наступления в уцелевший дом свезли с десятков раненых – у того левая нога, у того правая, у этого – пробита грудь, словом, неподъемные. А гитлеровцы пристрелялись к этому порядку домов малой артиллерией, кажется, «сорокапяткой», и хотя снаряды небольшие, но кладут их довольно точно, и стекла вылетают... А люди лежат молча, обреченно – подняться ведь не могут. Лихорадочно думаю – что же делать? Придумала!

– Ребята! У кого есть ложка, свою потеряла, есть хочу!

Сижу посреди избы, хлебаю большими глотками несоленую (на кухне кончилась соль, подвезти в наступлении не успели) густую затирку из темной муки. Смотрят, молчат, думают: наверно, тронулась с испугу... Потом кто-то замечает вслух:

– Ну и здорова же ты жрать, сестренка! – смеюсь вместе со всеми – цель достигнута, перестали обреченно вслушиваться: недалет, перелет... Когда стемнело, к дому подогнали подводы, увезли в полковой медпункт.

Мозаика воспоминаний пестра, складывается из крохотных ярких частиц, зацепившихся в памяти. Но этот рассказ не специально о войне, ставшей частью моей жизни, как у всех, кто был жив в это время, а о судьбе моей семьи, о моей судьбе в те далекие годы...

В конце апреля 1943 года меня демобилизовали, и я осенью родила дочку. А в марте 44-го ее не стало, она и родилась-то дистрофиком. По дополнительной продуктовой карточке для беременных давали в месяц 6 литров соевого молока, граммов 200 или 300 сладкого, вовсе не обязательно сахара, это могло быть повидло или печенье, и по 600 граммов мяса, талоны на него чаще всего отоваривались яичным порошком. Главным и единственным витамином была морковка с базара, а за талончики на 5–10 граммов жиров в соседней с институтом столовой наливали бидон так называемой лапши – «горячей и соленой», где лапшинка догоняла лапшинку... Те четыре месяца, что прожила на свете моя Аленка, вспоминать трудно и горько – буквально с первых же дней по выходу из роддома я должна была ее носить в ясли.

Вязанка дров на рынке стоила половину моей стипендии, и потому я не каждый день, и даже не через день купала дочку, а самое частое – раз в неделю. И что хуже всего – то ли от простуды, то ли от недоедания у меня пропало молоко.

Когда она родилась, мне было 22 года – для материнства лучшее время. Но, видимо, беды последних пяти лет не столько закалили душу, сколько изнуряли, высушивали. Осмысление этой потери пришло много позже, когда, уже выйдя из лагеря, я увидела девочку Алену, тезку и почти ровесницу моей дочки... Арест родителей, исчезновение их из моей повседневной жизни рождало то отчуждение, которое потом так и осталось в отношениях с мамой, когда она вернулась из лагеря. Ее отняли у меня как раз в ту пору, когда шестнадцатилетняя девушка более чем когда-либо нуждалась в родной душе, в руководстве жизнью...

Нет, свет не без добрых людей – вокруг меня и тогда, и потом нашлось их много, принимавших так или иначе доброе участие в моей судьбе, но самого важного – материнской заботы и любви я была тогда лишена, как и тысячи тысяч мне подобных – детей репрессированных.

И даже когда стала взрослой и заканчивала институт, а мама жила на сто первом километре в Александрове Владимирской области, я и тогда не имела просто физической (и материальной – тоже) возможности ездить к ней так часто, как надо было для того, чтобы мы сблизились и снова породнились душой.

Как большинство детей, я не понимала тогда своей мамы, и теперь казнью в душе своим отчуждением от нее, хотя и не виновна в нем... Не напрасно ведь сказано – «Жестокий век! Жестокие сердца!..»

* * *

Схоронив девочку, я продолжила учебу в институте, но маме все еще не могла помогать, хотя периодически прирабатывала – то писала тексты для Совинформбюро, то летом работала в Московском Доме кино.

Примерно в конце ноября 44-го года в Литинститут вернулся из газеты 5-й танковой армии поэт Виктор Урин, вернулся по ранению – рука, кажется, правая, была в гипсе и на перевязи. С ним приехал за типографским оборудованием капитан Зись, снабженец редакции. И еще было у капитана задание – привезти вольнонаемных корректоров.

Возвращение с фронта и рождение, а потом и смерть «от дистрофии и воспаления легких» моей 4-месячной Аленки, продолжение учебы в институте ни в коей мере не уменьшили моей внутренней потребности быть в гуще событий, ощущать, что хоть в какой-то малой части я могу принять непосредственное

участие в войне. Моя невестка как-то недоверчиво спросила меня: «А почему вы уходили в армию?». Имелось в виду – добровольно.

Ну как объяснить современной молодой женщине, что это было естественным движением души для нашего поколения. Все объяснения звучат высокопарно и оттого – фальшиво. Просто иначе не мыслилось: в дни военной беды – надо на фронт. Почему шли в ополчение больные и немолодые московские профессора? Почему весь мой курс – кто по повестке, а кто – добровольно – ушел на войну? И когда мне пришлось вернуться из своего неудачного «похода» на войну, в Литинституте я попала уже на другой курс – мой был весь на фронте. А совсем недавно однокурсница с этого вновь набранного в октябре 41-го курса спросила меня: «Почему ты всегда выбирала экстремальные пути?». Что могла я ей ответить? Что ни тюрьму, ни лагерь никто добровольно не выбирает, что, видимо, такова моя «планида», что, видимо, уход на войну – потребность души в ту пору и стечение обстоятельств: уйти в дни паники в армию с надеждой (тогда несбывшейся, к сожалению) попасть на фронт, наверно, и романтика, так свойственная юности, сыграла не последнюю роль.

Когда Витя Урин, с которым мы тогда были хорошие приятели, рассказал мне о возможности уехать в редакцию, я загорелась – вот он, еще один случай, еще один шанс вернуться на войну, пусть даже вольнонаемной... Думаю, что, наверно, не последнее место в этом желании занимала жившая во мне потребность все узнать, испытать самой. Эта писательская потребность не всегда осознаваемая, чаще интуитивная, всегда во мне жила и позже заставляла меня вызываться мыть пол в вагонзаке, а в эшелоне, везущем в лагерь, – дежурить ночью в теплушке...

Вот почему, отдав ключи от своей комнатенки Вите Урину, которому негде было жить в Москве, кроме институтского общежития, «а пребывание в нем очень осложняло возможности личной жизни», и попрощавшись с друзьями, я на завтра уехала из столицы. Помню замечательную прощальную вечеринку у красавицы Норы Футорян, ставшей впоследствии известным писателем-анималистом Норой Аргуновой, вечеринку, устроенную в честь моего ухода на войну – с большой кастрюлей традиционного студенческого винегрета, разномастной случайной посудой для еды и питья и замечательным, волнующим настроением. Нора жила в комнатенке вроде моей – метров 6–8 квадратных, – половину которой занимала тахта. Отличие от моего жилья заключалось в том, что это была комната для домработницы в большой наркоминдельской квартире, где прежде жили Норины родители, тоже репрессированные в 37–38 годах. В отличие от меня, ее никуда не переселили, а просто выделили ей эту комнатку. Дом был почтенный, старый, красивый. В нем до переезда на Смоленскую площадь размещался Наркоминдел – в одном крыле, в другом – жили семьи некоторых сотрудников.

Со мной вместе собрался вольнонаемным корректором и мой товарищ поэт Леня Чернецкий. Он был белобилетником по причине спондилита, но та самая писательская потребность все увидеть и узнать, о которой я уже писала выше, была свойственна не мне одной... Она заставила хромого и тяжело больного поэта Анисима Кронгауза прорваться корреспондентом «Комсомолки» на Сталинградский фронт, а горбатого Леню Чернецкого поехать со мной во фронтовую редакцию, и в этом ничего удивительного по тем временам не было. Все увидеть и узнать самому – было естественной профессиональной потребностью... Вот почему погожим осенним утром мы с Леной сели каждый в кабину громадных

«Студебеккеров». В кабину головного сел капитан Зись, и мы отправились в редакцию газеты «За отвагу» 5-й танковой армии.

Как сожалею я, что не была записей и дневников, не выработала такой привычки! И потому мои воспоминания мозаичны, отрывочны, и скорее всего – поверхностны. Тем не менее, Литва запомнилась – густой зеленью рощ и рощиц и непривычным для меня своеобразием редких хуторов, разбросанных далеко друг от друга.

Расположение редакции запомнилось подробнее. Именно редакции, потому что за то короткое время, что мне довелось там пробывать, я за пределами редакции почти не бывала. Это была какая-то не бедная в прошлом усадьба: белый дом в два этажа, даже с колоннами у входа. Стояла он в запущенном парке, рядом в двух сараюшках тархтел электродвижок и расположилась наборная касса. На веревках в стороне сушилось чье-то выстиранное обмундирование. Нам с Ленией очень обрадовались – редакция газеты 5-й танковой армии была как бы маленьким филиалом Литинститута: кроме Вити Урина в ней работали наши студенты Миша Луконин и Петя Хорьков. Главным редактором был, кажется, сибирский поэт Леонид Решетников. Однажды, в один из нечастых моих приездов в Москву, он узнал меня в Союзе писателей на Поварской, окликнул и напомнил, где мы встречались...

Пробыли мы с Ленией в редакции совсем недолго – всего несколько дней. Ровно столько, сколько хватило СМЕРШу навести обо мне справки. Боюсь, что произошло это с подачи моего однокурсника Пети, у которого в редакции почему-то было «историческое» прозвище «Науходоносор». Он знал и о Лешином, и о моем аресте. Может быть, он случайно просто обмолвился... Так или иначе, меня пригласили в СМЕРШ и сообщили, что по причине моей биографии, осложненной арестами папы и мамы, а также собственным арестом и пребыванием в штрафной роте, мне не положено работать в редакции армейской газеты. И предложили с ближайшим транспортом вернуться в Москву. Леня Чернецкий тоже засобирался в обратный путь со мною вместе. В качестве «компенсации» за несостоявшуюся работу в редакции нам подарили по паре новеньких трофейных кирзовых сапог с какими-то особо прочными рифлеными подошвами и железными подковами (свою пару я благополучно продала вскоре на ближайшем к институту Палашевском рынке, где наши студенты загоняли то часть хлебной карточки, то ордера на ширпотреб, время от времени выдаваемые профкомом именно с этой тайной целью, как мне сейчас кажется, – поддержать вечно недоедающих студюзов...).

Из Вайноде-Бата на попутных машинах добрались до шоссе, оттуда так же на попутках до Шауляя, потом поездом до Вильнюса. Из Вильнюса до Минска – в теплушке, а уже из Минска до Москвы – поездом, составленным из дачных вагонов. Я так подробно описываю обратный путь не потому, что запомнила его, – я эти подробности нашла в совершенно неожиданном для себя месте – в своем следственном деле. А по-настоящему запомнилась мне ночная промерзшая теплушка – в ту ночь неожиданно грянул мороз. В Москве эта морозная ночь в теплушке аукнулась потом длительной простудой со всякими осложнениями.

Так неудачно закончилась и третья моя попытка прорваться на войну...

Не знаю, какие силы вели меня по жизни – охраняли, не давая совсем сгинуть, или мешали реализовать все лучшее, что побуждало меня к тем или иным поступкам или решениям. Сейчас, когда я пишу эти строки уже в возрасте «пиковой дамы» (до которого я не чаяла дожить), склоняюсь к мысли, что это моя «такая планида»

* * *

Я закончила Литературный институт осенью 45-го года. Госэкзамен по русской литературе у меня принимали поэт Николай Семенович Тихонов и милейший Василий Семенович Сидорин. Особым прилежанием в учебе я не отличалась. И не столько училась, сколько жила институтом – интереснейшие творческие семинары, прекрасная библиотека, институтские вечера с остроумными «капустниками», непрременной участницей которых я была с первых же месяцев учебы...

Но, видимо, основы культуры и знаний, заложенные в семье мамой и в школе – прекрасной словесницей Александрой Ивановной Анисимовой, сказались: в билете на госэкзамене по литературе основной вопрос относился к роману «Война и мир», любимейшей с юности книге, многожды перечитанной, которую местами знала почти наизусть. Это мое любовное знание романа, естественно, сказалось и на моем ответе. Экзаменаторы довольно улыбались, а Николай Семенович, представляя в зачетке «отлично», пошутил, что: «старик Державин нас заметил...». Я в ответ не сумела сдержать улыбки.

Оказалось, что он уже слышал обо мне как о поэте, «подающем надежды», и, прощаясь, пригласил зайти, показать ему свои стихи, а главное – обещал показать рукопись Анны Андреевны Ахматовой, – он готовил ее для издательства. Конечно, я воспользовалась его приглашением и с каким-то неизъяснимым чувством касалась машинописных страничек (я уже знала «Поэму без героя» и была ею заморожена; тогда она ходила по рукам – в списках), бережно вынутых Тихоновым из папки...

А недавно мне рассказали, что «сигнал» этой книги все же вышел, и Анна Андреевна, не подозревая, что набор рассыплот, подарила этот единственный экземпляр ленинградской балерине Вечесловой.

Тихонов предложил мне принести свои стихи в журнал «Знамя», где он работал, что я и сделала. Кажется, они уже были прочитаны всей редколлегией, когда в августе 46-го вышло известное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» и о Зощенко и Ахматовой. Книга ее, конечно, не увидела света, Тихонов из «Знамени» ушел, о моей публикации нечего было и думать – мои стихи (в основном любовная лирика) и без того в институте считались «упадочными»...

* * *

Летом 46-го я поступила на работу – в сценарную студию Министерства кинематографии СССР. Вскоре стала старшим редактором по связи с Союзом писателей – должна была искать талантливых людей и привлекать их к работе в кино, искать талантливые книги для экранизации. Училась редактировать сценарии и фильмы у замечательных опытных редакторов – Нины Васильевны Беляевой и Елены Абрамовны Магат.

Работать было очень интересно, а главное – я, наконец, получила возможность хоть как-то помогать маме, так как у меня была уже регулярная и вполне приличная зарплата и очень хорошие карточки – «литер Б». Не очень часто, но я навещала ее в Александрове, посылала продукты. Но это было каплей в море – истощенная долгими годами жизни впроголодь, мама слабела, сдавало сердце, большое еще до ареста... В октябре 47-го я ее там же, в Александрове, похоронила.

В том же октябре 1947 года в Москве собралось Первое Всесоюзное совещание молодых литераторов, на которое меня не пригласили. Хотя в Литинституте знали

и любили мои стихи. За месяц до окончания института, в сентябре 45-го, меня вместе с Юлей Друниной даже пригласил на собеседование в Союз писателей тогдашний партийный «вождь» Союза Д. А. Поликарпов, тот самый, что был представлен к писателям непосредственно самим Центральным Комитетом. Но, как ни странно, в моей судьбе он однажды сыграл положительную роль, хотя именно он громил на закрытом комсомольском собрании мои «упаднические» стихи.

Партийный босс Союза писателей был искренно озабочен судьбой литературной молодежи, расспрашивал, не нуждаюсь ли в чем, даже говорил хорошие и добрые слова в мой адрес. Отказавшись тогда от его помощи, я действительно была вынуждена обратиться к нему в конце года – пришла просить направление на работу: Литинститут своих выпускников никуда не определял и не распределял. Прирабатывая на жизнь литконсультациями в издательстве «Молодая гвардия» (ответы на рукописи начинающих авторов, так называемый «самотек») и в Совинформбюро, куда надо было писать двух-трехстраничные зарисовки, карточки я получала в домоуправлении и, так как нигде не работала, – иждивенческие. А это было воистину полуголодное существование.

Работу тогда Поликарпов не предложил: шла очередная избирательная кампания, ему было некогда, а вот карточки «литер Б» приказал выдать. Выше я уже сказала, что такие же дали мне потом в сценарной студии Министерства кинематографии, где меня, так же, как в Литинституте, заметили, и даже дали самостоятельно вести сценарий.

Много лет спустя, читая свое следственное дело, я поняла, что все время была «под колпаком» органов, и не пустили меня на Первое совещание молодых литераторов как «антисоветскую» особу. Ведь через несколько месяцев после него, 28 марта 1948 года, меня арестовали.

* * *

Как это ни странно, только недавно я узнала, что бессонные допросы в течение первых двух недель назывались «конвейером». Правда, меня не ставили по стойке «смирно», но с первых минут ареста я попала в эту конвейерную беспросветность – первые трое суток меня допрашивали, сменяя друг друга с небольшими получасовыми перерывами на обед... Потом дней десять подряд вызывали на допрос сразу же после отбоя и возвращали в камеру к подъему, а спать днем, даже сидя, в следственных камерах, как известно, не разрешалось.

Однodelьцев у меня, к счастью, не было, и показания я давала только на себя. «Досье на самого себя...» – так называется фильм о судьбах незаконно репрессированных, снятый на киностудии «Ленфильм». Вот и мое дело было таким «досье на себя». Где-то на третьи, кажется, сутки, дали ознакомиться с постановлением прокурора о моем аресте, там же была бумажка об объявлении недели за две до ареста «почасовой слежки» за мной. Я этого, конечно, знать не могла, но и сейчас еще помню ужасающее ощущение чьего-то постоянного присутствия рядом – жива и пока здравствует, к счастью, моя подруга, которой я в те дни говорила: «Мне кажется, что за мной следят»... Оказалось, что мне ничего не «казалось», а так оно и было.

Дня три, по очереди сменяя друг друга, не давая мне «дух перевести», меня допрашивали два-три человека. Потом остался один. Очень удобно для себя он вписал события и обстоятельства моей жизни в логику своих рассуждений: «доч-

врага народа затаила зло на Советскую власть и вредила, как могла...». Шиворот-навыворот толковались те или иные мои поступки, трактовались, как ему было удобнее. Я сперва пыталась доказывать абсурдность таких умозаключений, но меня не слушали, потому что не хотели слушать. Убедившись в этом, я вскоре стала подписывать нелепые и страшные обвинения в свой адрес, кроме одного – обвинения в шпионаже.

Незадолго до моего ареста осенью 1947 года в газете «Известия» было опубликовано сообщение о высылке из Советского Союза прогрессивного американского журналиста Роберта Магидова. Сын выходцев из России, он еще в 1932 году приехал в СССР – сперва как турист, потом как корреспондент одной из радиостанций США, потом женился на русской и долгие годы жил в нашей стране.

Одновременно с ним, кстати, или даже чуть раньше выслали и известную коммунистическую журналистку – Анну-Луизу Стронг – разгоралась «холодная война» с Соединенными Штатами Америки.

Знакомство с Магидовым и ставилось мне в вину. А я действительно знала его с 12 лет, так как он бывал у нас в доме – его родители были земляками наших родных. Знала я его жену, увезенную им во время войны в Америку, где она активно участвовала в организации добровольных пожертвований для Советской России, так называемых «американских подарков». Ко всему этому я имела «неосторожность» возобновить знакомство с Магидовым после возвращения с фронта. Оно-то и послужило почвой для следовательских домыслов и приговора Особого совещания МГБ от 12 июня 1948 года: «по подозрению в шпионаже в пользу США». Случилось даже что-то вроде «игры» между мной и следователем: он задавал вопрос: «Где, когда, кем и при каких обстоятельствах вы были завербованы?». А я, однажды ответив: «Нигде, никогда, никем, ни при каких обстоятельствах, ни устно, ни письменно не была», потом всегда отвечала на тот же вопрос той же исчерпывающей формулой, ему это так понравилось, что он стал приглашать своих «коллег» поглазеть на меня и устраивал для них представление, задавая все тот же вопрос и получая все тот же ответ.

Один из его дружков, следователь Серегин, допрашивал моих соседок по камере, пожилых женщин, и по их рассказам я знала, что он материт их и дергает за косы. Ничего подобного «мой» Иванов себе не позволял – после двух недель бессонных допросов, когда все, что ему было нужно, я подписала, он просто отсиживал часы, листая толстые книги, видимо, учебники, конспектируя их, – готовился, наверно, к очередному экзамену. Так тогда соблюдалась видимость законности – следствию надо было натянуть не меньше 2-х месяцев.

Когда очень скоро я поняла, что выхода из этого «дома» на волю нет и начала подписывать все протоколы, я не могла даже представить себе, что получу «вышку» – 25 лет ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей) по Указу об отмене смертной казни. И поэтому, когда числа 20-го июня после отбоя в двери нашей камеры открылась «кормушка» и меня повели из нашего полуподвала куда-то наверх, и там в серой комнате, хотя горело электричество, среди стен, крашенных темно-серой «крейсерской» краской (видимо, в кабинете начальника тюрьмы), какой-то чин зачитал мне приговор ОСО «по подозрению в шпионаже» и срок – 25 лет, я, видимо, ненадолго, но все же сошла с ума. Мне в ту ночь померещилось, что вот в 4 утра меня уведут... Я «на минуточку» забыла о разных формальностях вроде срока кассационной жалобы и, напряженно вслушиваясь всю ночь в шумы за

дверью, так и не услышала какой-то возни в коридоре напротив нашей камеры. Позже стало известно, что в ту ночь приговоры зачитывали многим, и в камере напротив кто-то пытался повеситься. Но я ничего не слышала, хотя всю ночь не спала, ожидая, когда за мной придут...

Утром, хотя я не хотела плакать и, как мне казалось, не плакала, а изо всех сил старалась держаться, слезы сами полились из глаз...

На мое счастье в камере была одна мудрая, много пережившая женщина фамилии не помню, а звали ее Татьяна. Мне только что исполнилось двадцать семь лет, а ей было, вероятно, около сорока.

Крупная, громадная даже, и очень больная – у нее был больной позвоночник, и на допросы ее порой носили на носилках – Таня не говорила слов утешения – она просто дала мне книгу и велела: «Читай, постарайся отвлечься». Книга оказалась повестью Пришвина «Жень-шень». Я добросовестно старалась читать ее и незаметно увлеклась – прочла вдруг о том, как маралам срезают их богатство – роскошные ветвистые рога-панты, чтобы делать из них целебнейшие лекарства. Олень загоняют в специальный станок, мгновение боли – и его выпускают, но уже без ветвистой его гордости. И далее Пришвин пишет о том, что, глядя, с каким достоинством вынес эту не только болезненную, но и унижительную операцию гордый красавец-олень, он, писатель, понял, что нет и не может быть унижительных положений, если сам себя не унизишь. Это не дословная цитата, это пересказ основной мысли писателя. Я запомнила ее на всю жизнь, и она помогла мне все те восемь с половиной лет, что пришлось прожить в заключении.

Здесь я должна немного рассказать о Тане и еще об одной женщине, соседке по камере. История Тани была такова – они с мужем, оба коневоды, научные работники, оказались в оккупации. Чтобы сохранить поголовье породистых лошадей, никуда не ушли с конезавода, где работали и продолжали работать и при гитлеровцах, но, когда вернулись наши, Таня с мужем все это рассказали и получили, как водится, по 10 лет.

В Бутырской тюрьме, куда Таню после приговора перевели с Малой Лубянки, где она сидела в нашей камере еще до меня, Таня попыталась связаться с мужем, тоже уже осужденным и ожидавшим этапа. Но ее записку перехватили, а Таню вернули на Малую Лубянку на «доследование» и поселили в прежней камере.

Помню, у меня от страха замерло сердце, когда вечером после отбоя в двери возникло громадное бледное существо – на Тане было светлое, от бесчисленных стирок ставшее белым ситцевое платье до пят, похожее на фасонную ночную сорочку. Головой она касалась притолки, бескровное лицо тоже было белым... Я подумала: наверно, если бывают привидения, то они так выглядят, как эта женщина... Но в камере ей обрадовались, ее помнили старожилы, и, поведав нам свою историю, она стала знакомиться с новичками, прибывшими в эту камеру уже после нее. И тут выяснилось, что сидевшая с нами Лида, исчезнувшая из камеры незадолго до возвращения Тани, и, как мы думали, переведенная после объявления приговора в другую камеру (обычно так и делалось, не знаю, почему мне сделали исключение, вернув меня после приговора в ту же камеру), – все и не Лида. Таня назвала какое-то другое имя ее, даже несколько имен, под которыми она появлялась в разных камерах Бутырки, и объяснила, что Лида – обычная «наседка», ее подсаживают в камеры, чтобы подловить заключенных

на чем-нибудь или спровоцировать. И я вспомнила миловидную, ладненькую и аккуратную, молчаливую Лиду. При знакомстве она рассказала свою историю, чем-то похожую на мою, – в ней тоже фигурировал иностранный журналист. По ночам ее так же вызывали на допросы и так же не давали потом спать днем. Лида была молчалива, но я-то всегда была от природы очень общительна, контактна, чтоб не сказать болтлива. Я не только рассказывала Лиде о своих допросах и делилась некоторыми мыслями, в частности, о сроке в 25 лет, представлявшимся мне совершенно нереальным.

Еще я делилась с нею и такими своими суждениями, открытиями: человек всегда человек, в любую историческую формацию – при феодализме или социализме – он одинаково любит и создает семью, подвержен страстям и привычкам, так же умирает. Видимо, эти мысли были страшной «крамолой», усугублявшей мое положение, а Лида, видимо, исправно сообщала о наших «доверительных» беседах. И, может быть, именно ей я обязана таким бесчеловечным сроком.

Мои следователи Иванов и Серегин – тоже были, наверно, моими ровесниками – где-то учились, одновременно работая, вели конспекты, кого-то любили... О судьбе Иванова так ничего и не знаю, да и не интересовалась, а вот про Серегина кое-что мне стало известно, когда, уже реабилитированная, я приехала в Москву из Балхаша в декабре 56-го и пришла в старую квартиру на Большой Семеновской, откуда меня взяли. Соседская девочка Тамара, ставшая за эти годы взрослой молодой женщиной, рассказала, что летом 48-го года (вероятно, вскоре после приговора мне от 12 июня) мою комнатушку распечатали и в нее въехал новый жилец – следователь МГБ Серегин. К счастью для соседей, он прожил там не очень долго – через некоторое время обменялся с какой-то одинокой немолодой эстонкой, хорошенько, видимо, ее припугнув, и переехал в ее 12-метровую комнату. Все это мне рассказала Тамара, ее соседки, когда я приходила, дома не было. Ждать мне было некогда и больше я в этот дом не заходила. Незадолго до этапа меня все же перевели в другую камеру, где я провела несколько дней. Татьяну я больше нигде не встречала и о судьбе ее не знаю.

В новой камере мне тоже подсаживали «наседку», но я ее быстро распознала, и через день ее убрали. А в конце июня меня вызвали «с вещами», посадили в «воронок», а когда выпустили из него, я оказалась на железнодорожной насыпи, полого спускавшейся к рельсовым путям, где стоял вагонзак. И я узнала место, о котором рассказывала мама, – по мосту шли трамваи, автомобили и люди, в нескольких метрах от него был родной теплый дом, где жила тетя Вера, мамина сестра, где весь десятый класс меня кормили обедами. Меня привезли туда же, откуда в 38-м году маму отправили в Темниковские лагеря. Это была Нижне-Красносельская улица, недалеко от станции метро «Красносельская»...

* * *

Есть вещи, о которых не только трудно и неприятно, но просто невозможно писать, и даже вспоминать – тяжело. Очень трудно, почти невозможно, особенно задним числом, доказывать, что ты «не верблюд». Совершенно не помню подробностей того, как в декабре 45-го меня «пригласили» в Управление МГБ по Москве и Московской области. Не помню, сколько я там пробыла. Вышла оттуда, подписав согласие «сотрудничать» – угрожали мне судьбой мамы, жившей на «сто первом»...

Впоследствии в своем следственном деле я нашла небольшой «меморандум» – извлечения из агентурной разработки на маму, относящиеся непосредственно ко мне. И есть в этом документе зловещая фраза: «Тамарина (речь идет о маме. – Р. Т.) нами уличена в разглашении государственной тайны». Этот документ датирован июнем 1946 года. А в декабре 1945-го меня «пригласили» в МГБ. О том, что маму уже вынудили год назад, в декабре 44-го, когда она была задержана органами на один день (данные из ее дела), дать такую же подписку, которую у меня «добывали» в тот день, я еще не знала. Но позже она мне рассказала об этом в один из тайных приездов ко мне на Б. Семеновскую (говорила ли я ей тогда о себе, не помню...). А сейчас, в декабре 45-го, мне не только прозрачно «намекали», что мой отказ может отразиться на ее судьбе, но и открыто пригрозили, что вернуться к делу 42-го года, если я откажусь «помогать» им.

Продержали меня там целый день, а может быть, и сутки – не помню. Из «меморандума» видно, что они «вели» меня еще с 1943 года, взяв на заметку мой первый приход к Магидову в гостиницу «Метрополь», и потом уже не выпускали из поля своего зрения всю дальнейшую жизнь. Именно тогда, в декабре 45-го, я и написала впервые свои «собственноручные» показания о том, как и что я рассказала Магидову, Мэгги, об истории своего ареста в 1942 году, по его просьбе написав об этом рассказ с вымышленными именами, но о реальных обстоятельствах своей жизни.

Знакомясь со своим следственным делом, я прочла и свой пересказ этой истории на допросах, и свои собственноручные показания об этом же.

Это были письма некоей придуманной мной Веры, студентки пединститута, вышедшей замуж за молодого художника. Она, как и я, в дни октябрьской московской паники уходит в армию, покидает Москву с маршевой ротой. Вскоре за ненадобностью в части, куда попала, демобилизуется, возвращается в Москву, где встречает мужа, вернувшегося из окружения. Случайно видит его картину о вербовке гитлеровцами пленного красноармейца. Узнав в пленном автопортрет мужа, расспрашивает его и узнает правду о его плене и вербовке. Боясь за его и свою судьбу, в органы не обращается, но их все равно арестовывают. Далее шли подробности пребывания во внутренней тюрьме, потом подробности о пребывании в штрафной роте на фронте. В этом рассказе ничто не было мной ни придумано, ни приукрашено. Но его называли, объявили «антисоветской клеветой». Во «искупление» своей «вины» я должна была теперь регулярно писать отчеты обо всех своих знакомых – о встречах и разговорах с ними, давая им прежде всего политические оценки и характеристики. Кличку мне дали «Тамара».

Ничего этого я действительно не помнила в таких подробностях, а как бы заново узнавала это, припоминала, читая свое следственное дело. Читая его, я к своему стыду убедилась, что сама же и рассказала на следствии, что «разгласила» нескольким своим подругам эту великую тайну. Что побудило или вынудило меня дать эти показания, я напрочь не помню... Но хорошо помню, как терзала меня эта подневольная необходимость жить отныне двойной жизнью – я была настолько душевно травмирована этим, что, видимо, искала какого-то облегчения, когда рассказала об этом нескольким своим подругам, кому и когда – не помнила. И только читая дело, узнала, что Римме и Лене я рассказала в начале 46-го, вскоре после того злополучного 13 декабря 45-го, Нине и Оле – летом 46-го, Люде – весной 47-го, Леле – летом того же года. Впоследствии, при пересмотре

моего дела, двоих из них – Римму и Олю – вызывали и расспрашивали, что им известно о моих связях с органами госбезопасности. Я читала их показания в своем реабилитационном деле, где они категорически утверждали, что им ничего об этом не известно.

Это вообще примечательный документ – реабилитационное дело. К примеру, те восемь человек, что подписывали акты о «вредительской» деятельности моего отца, начисто отказались от своих показаний. А мои подруги, к их чести, просто умолчали о том, что знали.

Но не умолчал в начале 1948 года один близкий мне человек, за которого я тогда собиралась замуж. И кажется мне почему-то сегодня, что его ко мне подослали... И не только его – вспоминая обстоятельства и события 1947 года, предшествовавшего моему аресту, я понимаю сегодня, что были и еще две странные встречи в том году, когда окончательно выяснилась моя бесполезность и бесперспективность для органов. Вдруг разыскал меня прямо на работе в сценарной студии какой-то давний – из 38-го года (!) приятель-поклонник. Он помнил все: и мои наряды, и места наших встреч... Тогда, семнадцатилетней девочкой, я очень испугалась его настойчивых домогательств. И вот из «гадкого утенка» он превратился в статного и красивого вчерашнего фронтовика. Но наш краткий с ним роман летом 47-го года не дал, видно, желаемых результатов, и так же неожиданно, как «нашелся», он исчез из моей жизни. Тем же летом я получила «задание» встречаться с давним институтским знакомым К. Этот К. был моим однодельцем по делу Алеши Страхова – учился вместе с ним в школе, ходил в литкружок при районном Доме пионеров и, видимо, помог в октябре 41-го перевестись из ВГИКа в Литинститут. Тогда, летом 47-го, он тоже стал проявлять ко мне «внимание» – приглашать на танцы и т. п. Но его я вычислила сразу, и потому в некоем официальном документе, содержащемся в моем следственном деле, клеймящем меня как негодящего «сексота», за общение с К. меня хвалят...

Осенью 1983 года в Коктебельском Доме творчества меня окликнул человек, показавшийся сперва незнакомым, и стал расспрашивать о моей судьбе, об Алексее Страхове – это было большой неожиданностью, и даже перепугало меня: эти страницы моей жизни знали немногие близкие. Я этого человека почему-то не помнила, но оказалось, что как раз тогда, осенью 41-го, он поступил в наш институт. И весной, вернее, летом 42-го, ушел на фронт и потому знал мою историю. Тогда, в Коктебеле, он высказал предположение, что именно К. мог сообщить в органы об Алексее, потому что очень боялся своего разоблачения как дезертира... Оказывается, в те же дни октябрьской паники в Москве К. был призван в армию, но испугался и сбежал из военкомата – и сам тогда же рассказал о побеге этому человеку, советуясь с ним, как поступить. «Я рекомендовал ему пойти в другой военкомат, сказать, что документы утерять, и призываться. Но он не послушался и, видимо, боясь за себя, зная от Алеши обо всем, сообщил куда следует, испушив, таким образом, свое дезертирство...» Это предположение моего вновь обретенного знакомого показалось мне не лишенным резона, но проверить его ни он, ни я, естественно, не могли – К. уже не было в живых.

Как бы то ни было, летом 47-го года К. тоже попытался за мной почему-то ухаживать (хотя я отлично знала его истинное ко мне отношение), но тоже отстал, не добившись желаемого результата. И осенью 47-го года возле меня появился молодой сценарист, выпускник ВГИКа Виктор Лобода. К тому времени я так

устала от одиночества и нечаянного метода «проб и ошибок» в личной жизни, так хотела семьи и основательности, что обрадовалась его появлению – мне хотелось верить, что он меня любит, и мы решили пожениться и поселиться вместе.

Из дела я узнала, что ордер на мой арест был датирован 26 марта 48-го года (с которого и исчисляется мой срок), но пришли за мной – 28-го. Видимо, знали, что Виктор будет у меня. Пришли раненько утром, застали нас в неглиже... Так появилось в моем деле важное для них показание В. Лободы, уличающее меня все же в «разглашении государственной тайны»...

Потом, в реабилитационном деле, читая заключение неведомого мне, но дотошного лейтенанта госбезопасности Клюева, я прочла о себе и такое: «обвинение ее в разглашении сведений о негласном сотрудничестве с органами МГБ настолько несостоятельно, что само Особое совещание виновной в этом Тамарину не признало».

И сейчас самое время полностью привести давно обещанный замечательный документ, хранящийся в моем деле:

Совершенно секретно

Характеристика

на агента «Тамару», л. д. № 146947

Агент «Тамара» находилась у меня на связи с 7 июня 1947 г. по день ее ареста, т. е. 28 марта 1948 г. За указанный период никаких материалов, заслуживающих внимания, она не дала. Свои связи по личной инициативе не освещала и старалась о них вообще умолчать. Даже в том случае, когда я направлял ее на разработку известных ей лиц, в частности: Кантор М. М., Слоним Р. Ю., Бать Н. А., Футорян Э. Б. и др., она все-таки задания не выполнила и характеризовала указанных лиц поверхностно.

За пассивную работу «Тамара» неоднократно была предупреждена мною, однако соответствующих выводов из этого не сделала и оставалась сознательно безынициативной. В последнее время «Тамара» была связана с К., который разрабатывался нами по предварительной агентурной разработке по подозрению в шпионаже. Все задания, связанные с этой разработкой, «Тамара» выполнила добросовестно.

В части явок «Тамара» была аккуратна и дисциплинирована.

7 июня 1948 года. «Согласен» – нач. 2 отд. УМГБ МО майор Шейнюс
Ст. опер. уполномоченный УМГБ МО Нефедов.

По дате этого документа я поняла, что обвиняющих материалов в моем следствии было недостаточно, и перед отправкой дела в ОСО вдогонку была срочно написана приведенная выше характеристика – ведь приговор ОСО датирован 12 июня 1948 года.

...Когда подписывала 206 статью об окончании следствия, прокурор сказал мне: «Вы, Тамарина, нераскаявшийся враг». Спустя много лет, в мае 1956 года, когда по всем лагерям ездили комиссии XX съезда и реабилитировали незаконно репрессированных, такая комиссия, приехавшая в Балхаш, где я к тому времени находилась, не сочла возможным реабилитировать меня, а снизила срок с 25 лет исправительно-трудовых лагерей «всего лишь» до 12 лет. Видно, что-то очень и очень страшное написано обо мне в моем «досье»... Осенью 56-го года меня

освободили условно-досрочно как отсидевшую две трети срока. В конце того же года я получила из Москвы справку о полной реабилитации «за отсутствием состава преступления».

Читая свое дело, я обнаружила постановление моего следователя Иванова «О направлении обвиняемой после осуждения в Особые лагеря МВД СССР». Было оно составлено еще 18 мая 1948 г. Документ этот начинается словами: «Я, старший следователь следотдела МГБ МО лейтенант Иванов, рассмотрев материалы в отношении такой-то... НАШЕЛ»... – далее идет перечисление моих «страшных преступлений», которое заканчивается фразой: «Учитывая характер совершенных Тамириной преступлений и особую опасность ее личности для государства, ПОСТАНОВЛЯЮ направить Тамарину Руфь Мееровну для отбывания наказания в Особые лагеря МВД СССР».

Оказывается, это было в его единоличной воле, не только определять, но и ПОСТАНОВЛЯТЬ, вершить судьбу – какая же страшная система запрограммированного произвола одного человека над другим, страшное право – казнить или миловать, само по себе уже подразумевавшее, несущее в себе беззаконие и презрение к человеческой личности. И еще поняла я, прочтя этот документ, почему комиссия XX съезда партии, рассматривавшая наши дела в Балхаше в мае 1956 года, не сочла возможным освободить меня вчистую, а всего лишь снизила срок с 25 до 12 лет... Очень уж страшной преступницей я выглядела в постановлении лейтенанта Иванова.

А вот другой лейтенант КГБ – Ключев 31 июля 1956 года пришел совсем к другому «ЗАКЛЮЧЕНИЮ» и «НАШЕЛ», что «в основу ее обвинения были положены только личные показания», что «протоколы допроса, как указывает она, действительно не соответствуют и были подписаны ею в ходе следствия в деморализованном состоянии, примирившейся с безвыходностью своей участи о предрешении ее дела органами госбезопасности...», что «в ходе следствия и дополнительной проверки данных о шпионской деятельности Тамириной Р. М. не добыто, а личные ее показания... без подтверждения другими объективными данными не могут служить достаточным основанием к ее осуждению за шпионаж...»

Спасибо вам, неведомый мне лейтенант Ключев! Конечно, я понимаю, что вы были всего лишь исполнителем новых веяний, новых «ценных указаний» насчет так называемых «врагов народа». Но очень хочется надеяться, что на этот раз ваша работа доставила вам настоящее удовлетворение, а может быть, и радость – ведь вам выпало редкое и счастливое везение – творить Добро, восстанавливать Справедливость, быть Провидением!

А лейтенант Иванов, так мило мне улыбавшийся и ни разу не обозвавший меня худым словом, и даже как-то рассказавший на одном из допросов, когда нечего было уже писать в протокол и он просто отсиживал необходимое время, историю о том, как «загремел» на 10 лет по 58-й некий редактор многотиражки, не углядевший сдвига в стихотворной строчке «Один ты сын у Родины».

Сколько судеб изуродовал и поломал, так же мило улыбаясь, как и мне, «скромный» лейтенант Иванов, предрешая страшные четвертьвековые сроки и отбывание их в Особых лагерях... И сколько их было таких.

